



А. М. РЕМИЗОВ

Алексей Максимович Горький

1868—1936

Так мне и не пришлось... говорили, Горький приедет в Париж, ждал его: кто знает, может быть, в последний раз и навсегда — а хотелось сказать. И вот все кончено. А закончилось под музыку Сен-Санса на Красной площади в Москве — новая версия «Ступеней человеческого века». А за эти годы приходила и невольню и такая мысль, и не мог я заглушить ее: читаю в газетах: «пропал Горький» — а это значит: да вспомнил своего Лунева из «Троих» — не надо и проклятий! — и вышел безвестным странником на широкую русскую землю в свой последний путь.

* * *

Тридцать лет нашей первой встрече, а эти тридцать лет для меня, как один день, и живо, как бывшее вчера, — мое чувство через тридцатилетний день осталось неизменно.

Не знаю, кого еще назвать, разве Блока, о ком так памятно, — встреча с Горьким: тот внимательный взгляд, его чувствую я в человеке, по близорукости не различая глаз, и та улыбка — как будто сконфуженного (у Блока — виноватая), а это и есть то самое, что создает поле доверчивости — открывает свободу, при которой только и можно говорить с человеком по-человечески, без засти лукавства «двойных» задних мыслей.

А стал знать я Горького с его первых книг еще в годы моей юности.

Меня поразило его необычайный голос: в тихое Чехова вдруг ворвалась «пространственная» медь Вареза*.

* Edgar Varese, автор «Integrales».

И если Чехова читали с упоением — есть ведь такое человеческое: повторить словами книг о своем пропаде, и даже не про-падном, а только воображаемом, Горького читали с восторгом, да, восторженно, и пропащие и пропадающие, повторяя — «все в человеке, все для человека».

Горький ученик Толстого.

От Толстого, давшего миру из своей величайшей веры в человека последнюю чудесную сказку «Хозяин и работник» — о свете человеческом, нечеловечески светящемся в человеке, идет отсветом мысль Горького. Горький продолжает миф о человеке со всей ожесточенностью задавленного, воссильшегося подняться во весь рост человека.

Горьковский миф — не «сверхчеловек-бестия», давящий и попирающий, а человек со всей скрытой в нем силой творчества, человек, за что-то и почему-то обреченный на гибель, а в лучшем случае на мещанское прозябание по образцу «Ступеней человеческого века».

Суть очарования Горького именно в том, что в круге бестий, бесчеловечья и подчеловечья заговорил он голосом громким и в новых образах о самом нужном для человеческой жизни — о достоинстве человека.

Горький — мифотворец.

Место его в русской литературе на виду.

Не Гоголь с его сверхволшебством, не Достоевский с его сверхсознанием, не Толстой с его сверхверой, явление мировое, необычайное; и не Салтыков, не Гончаров, не Тургенев — создатели русского «классического» книжного стиля, Горький по трепетности слова идет в ряду с Чеховым, который своей тихой горечью не менее нужен для человеческой жизни, как и горьковское гордое сознание человека, без чего дышать нечем.

Слово у Горького — от всего бунтующего сердца, слог звучит крепостью слов, стиль: читать Горького можно только громко «во всеуслышанье», но петь Гоголем — Горький не запоется, как и не зазвучит Толстовским отчитом.

Горький никогда не расставался с книгой. Первый известный его портрет: Горький над книгой. И издательство Горького — «Знание»; а во всех его предисловиях к чужим книгам всегда чувствуется радость человека, напавшего на откровение. И «Всемирная литература» — затея Горького. А имена ученых, великих писателей и художников звучали у него так, будто, произнося, подымался он с места.

Огромным чутьем возмещалось у Горького отсутствие литературных «ключей» и дисциплины. Но там, где была хоть какая-нибудь сложность, Горький закрывал глаза и не слышал.

Достоевский своим «страданием» оттолкнул его. И иначе не могло быть: мятеж Достоевского разлагал миф о гордом «дейтельном» (т. е. тупом и ограниченном, по Достоевскому) человеке — миф, вышедший из непонятных, ненужных страданий за что-то и почему-то задавленного и вот взбунтовавшегося человека.

Горький никогда и не пытался понять Достоевского, как не понял Толстого с его «непротивлением», вышедшим из веры в человека. А ведь это «страдание», по Достоевскому, может быть, единственное оправдание, единственный свет жизни человеческой безобразной, бессмысленной, складывающейся нелепо в самой сути жизни, благодаря каким-то «ошибкам» там — за которые человек никак не ответствен, а жить-то надо как-то, не становиться же в самом деле на четвереньки при «Эммануиле-то Канте, великом кенигсбергском философе», как почтительно выражался Горький, и при «Вильяме Шекспире», востря глаза — в лес, не начинать же сызнова историю, начавшуюся гориллой, человеку, страданием достигшему сознания «я есмь» и тем самым переступившему «человека» с его «болью» и «страхом».

Мне навсегда останется гениальное воплощение Лифарем «Икара» — в веках из веков сложенного мифа о человеческом полете — об этом подлинно «безумстве храбрых». Я видел живого летающего Икара! — слышу древний голос о грани человеческой силы — «Смирись, гордый человек!» — и чувствую всю обжигающую скорбь сброшенного с недосягаемых «зодиакальных» высот гордого человека, свернувшегося без крыл жалким зайчонком.

Этот древний, роковой для человека миф, как и самосознающий человек Достоевского, затеняет горьковский бунт — миф без всякого «туда», а «тут» — миф о человеке, выдирающемся из пропада: ведь все равно надо лететь, и без оглядки, иначе дух вон.

Оттолкнул Горького и Джойс, и Пруст, вся сложность словесного искусства. — Какой еще Джойс: мысле-чувство-словные процессы в яви и сновидении; какой там Пруст: изгубленная память или долгий взгляд в пропастную память! — человеку жрать нечего, и жизнь его скотская, а слово — рваная плюхающая калоша, а мир — незатейливый дурацкий фильм.

Но это же самое чувство привело Горького к Лескову, по складу чувств, слова и мысли самоцветному отпрыску протопопа Аввакума, родоначальнику русской «природной» речи; Горький открыл забытого Слепцова, предшественника Чехова,

чутьем оценив его словесное мастерство и теплоту человеческих чувств. А из современников выделил Пришвина — Михаила Михайловича Пришвина, русского Киплинга, мастера на зверя, лес и поле; постигшего звериную тайну, со слухом к свисту птиц и дыханию трав.

.....

Алексей Максимович, вы стали судьбой в моей жизни, вы, при всем вашем оттолкновении от моего мира снов, вы разгадали вашим чутьем мою любовь к слову, и я обязан вам моим первым выступлением в литературе.

И разве я это могу забыть?

Алексей Максимыч — в последний путь: вспоминаю вас — вы знали бедность, унижение и отчаяние... вспоминаю наши редкие встречи и очарование, какое легло мне на сердце. Прощайте!

